

После окончания педучилища Катя прибыла в распоряжение Казанского роно. Но там её, молодую, энергичную, перехватили партийцы из отдела культуры и предложили, как комсомолке, заняться культурно-просветительской работой в Благодатном. К середине 1960-х в стране осталось около шести тысяч сельских изб-читален. В послевоенные годы насчитывалось пятьдесят тысяч. Их заменили библиотеки, клубы, Дома культуры. Благодатненцы же утешились старым добрым очагом культуры—своей избой-читальней.

Село Благодатное подковой раскинулось на берегу Бездонного озера. Летом здесь и впрямь благодать. А зимой на Бездонном гнездятся ветры и дуют, дуют во все стороны, во всякую погоду гонят на село белых змей—позёмку за позёмкой.

Вечерами благодатненцы—всякая изба сама по себе—чай гоняли да слушали стариковскую побывальщину. Повесила Катя красный флаг на избе-читальне, написала лозунг: «Ученье—свет, неученье—тьма». И стали собираться по вечерам на избачёвский огонёк стар да мал. Она им ругает проклятых империалистов, радуется освоению целинных и залежных земель. Учит грамоте, выдаёт книжки по силам: кому «Сказку о рыбаке и рыбке», а кому букварь. Закроет позднёхонько избу-читальню, а какая-нибудь старуха не уходит, мнётся возле избачихи:

— Катерина Санна, уважь, голубушка, почитай письмецо от Веньки мово беспутого! Умотал в Петропавловск на заработки. Чо он там маракует?

Катя ведёт бабку на свою половину: сельсовет выделил для пропаганды знаний пол-избы, другая половина полагалась избачу. Прочитает письмо под бабкино: «Осподи, Сариса Небесная!..»—ответ сочинит, чтобы возвращался сынок.

Не стало от старух отбоя. Дело, без дела—плетутся к Катерине Санне. Целыми днями пропадала она в своей избе-читальне. Зимними сибирскими вечерами не было уютнее места в Благодатном. Здесь улаживались соседские ссоры, мирились жёны с мужьями и присматривалась друг к другу молодежь.

Стал захаживать на избачёвский огонёк с дружками-бражниками и Пашка Зорин—первый парень на деревне. Дружки Пашкины свернут кульки

из старых газеток, семечки в них лузгают да девок пощипывают. А Пашка сядет, закинёт ногу на ногу и небрежно листает «Крестьянку», из-за журнала на избачиху поглядывает. Так себе, ничего особенного. И что это люди по ней с ума посходили: Катерина Санна, Катерина Санна!.. Брови скобочками выщипаны, щёки с ямочками подрумянены, курноса. Одевается фасонисто, по-городскому. Валенки фетровые, как снег белые... Поближе бы надо сойтись, распознать, что в ней особого. Жалко, в этом же доме живёт—не напрочишься на провожанье. А то бы улестил гордячку...

Кате льстило, что такой парень вокруг неё увиwался. Сколько девок по нему сохнет, а он всё-таки её выбрал. Но поманежить надо, гонору поубавить.

Не обломал Пашка Катю просто так. В азарт вошёл, да и отступить не привык. Заявился однажды к ней, бухнулся в ноги: мол, жить без тебя не могу! Или ты, или погибель! Слёзы на глазах, жар на лице—любовь, да и только! Тут и Катя не выдержала, тоже в слёзы—и на Пашке повисла.

Слов нет, рассуждали доброхотные старушки, Павел—парень видный из себя, волос волнистый. Да вертун. Не одной девке пуговицы покрутил. И с Катериной Санной что-нибудь выкинет. Нет, не будет добра!..

Чуяли жизненные сердца беду неминуемую, ответи её хотели от Катеньки. Не послушала мудрых стариц, ушла к кобелине проклятому.

Всё реже общалась Катя с сердобольными. Узориных корова отелилась. Павел стал частенько в стопку заглядывать. Трезвый ещё ничего, а пьяный—сумасброд. Всё жене выскажет, что о ней думает. Дескать, наштукатуренная, намалёванная ещё туда-сюда, а в постели без пудры и румян смотреть не на что.

Катя, конечно, виду не показывала: мол, всё хорошо, живёт не хуже других. Но чуткие сердца не обманешь.

— Добром, Катюша, жисть твоя не кончится. Уходить надо, пока ребёночка нет.

— Да как же на людях-то покажусь? Екатерина Александровна—и вот на тебе, разведёнка! Остепенится Павлик. Видать, своё ещё не отгулял. Покуражится и остудится. А так он хозяйственный и трезвый обходительный. Конечно, остепенится!..

И впрямь на людях Пашка вокруг жены вьюном вьётся. А по-за глаза грязью обливает, как худая баба. Зориха то же. Нет чтобы сыночка своего приструнить—потакает ему во всё. Одного поля ягоды.

Пытаясь наладить жизнь, Катя стала учительствовать недалеко от Благодатного, в Лебедеве. Пашка не в своём доме немного поутих и, казалось, взялся за ум. Но не тут-то было...

После аборта—Пашка не хотел ребёнка—Катя вновь забеременела. Но скрыла это от мужа. Поехала с ним в гости к свекровке, в Благодатное. Зориха встретила невестку радушно и даже поругала сына за то, что не даёт ей на старости лет внучка. Катя хотела было порадовать её, признаться, что беременна. Да что-то удержало. Зориха не отходила от сыночка ни на шаг, гладила его волнистые волосы и, подбочась, любовалась своим чадом. Да, одного поля ягоды! За сына горой. Наверняка осудит невестку за самовольство, за неподчинение мужу. Ещё и накричит.

Пашка, захмелев от двух кружек бражки, то и дело охорашивался, глядя в чёрное зеркало окна.

На обратном пути, только отъехали от Благодатного, началась пурга. Мохноногая кобылка в снегу пошла тихо. Ухарь Пашка любил быструю езду. Встал во весь рост и остервенело начал хлестать кнутом лошадь. Та дёрнулась, жалобно скосила на разъярившегося мужика влажный, блестящий глаз: не видишь разве, какой снег?

Грубо оттолкнув Катю, Пашка разгрёб солому и вытащил корявую хворостину. Ткнул коняге под хвост и, потеряв равновесие, упал на жену.— Паша, опомнись!—сталкивая его с себя, сдавленно выдохнула она.

— Нам, женатым, всё равно!— он схватил её, заблажил:— И за борт её броса-ает в набежа-авшую волну!— и столкнул с саней.— Баба с возу—кобыле легче!— матерно выругался и дико заорал:— Гряднем, братцы, удалу-ую за поми-ин её души!..

В фетровых холодных валеночках, в пальтишке на рыбьем меху, шла Катя в жестокую пургу, прижав к груди руки в цигейковой муфте... «Зачем и куда я иду? Лучше умереть. Замерзнуть. Говорят, замерзающим снятся сладкие сны. В жизни мало видела хорошего, хоть в смерти узнаю...»

С жалостью к себе лукавила Катя. Детдом—какая-никакая, но всё же семья. Иные домашние не такие крепкие. Не беспризорница же. На учительницу выучилась. Люди уважают. Да и по натуре не из нытиков. Даже оптимистичная чересчур. Пашке поверила. А людей добрых, разумных не послушала. Вот и поплатилась.

Она уходила с дороги в лес, оседала в пуховый снег. Эхо волчьего леденящего воя доносилось сквозь пургу. И представлялось ей, как её, окоченевшую, грызут волки, утаскивают всё дальше от

людей, в глушь... Вот белеют по весне её косточки среди змеящихся корней...

Катю колотило, и сон никак не шёл, и отходила от сердца наплывающая к нему мягкая, приятная пустота. «Что же это я? Ведь теперь самая пора жить. Под сердцем живой комочек бьётся. Сыночек, верно. Серёженька. Без Пашки нам с ним будет хорошо. С ним хорошо...»

Она снова шла, и ветер затихал перед ней, и языки белого огня, потухая, ластились к её ногам...

В горячечном бреду учительницу подобрала Шипилиха.

Районные врачи определили: крупозное воспаление лёгких, возможен туберкулёз—необходимо диспансерное лечение. Но Катя надеялась за лето избавиться от болезни.

Всё Лебедево и благодатненцы переживали за Екатерину Александровну. Кто нёс лечебные травы, кто барсучье сало, кто медвежий жир. Пашку пытались усостыжить. О будущем ребёнке он и слышать не хотел. Заявил, что ему не нужна чахоточная, когда здоровые в очередь стоят, и умотал с очередной зазубой в Петропавловск.

Катя так и осталась у Шипиловых. Добрые люди заботились о ней как о родной. Шипилиха прослышала, что от чахотки очень помогает собачье мясо. Тайком отвела к лебедевскому коновалу жирного Полкана и целый месяц потчевала болезную собачатиной.

То ли вера Шипилихи в чудодействие тайного лекарства была сильна, то ли на самом деле собачье мясо помогло, но Катя почувствовала себя гораздо лучше. Сибирское деревенское лето суровое, целительный воздух, здоровая крестьянская пища—вовсе на поправку пошла. Да, верно, и материнский организм оздоровился, сготовился к рождению ребёнка...

Вздуродражился шипиловский дом, заклохотали квочками женщины над солнышком Серёженькой. Счастье—через край! Мама здорова, и дитяtko здоровенькое. Так врачи сказали. Жить бы да и радоваться...

В промозглом ноябре притихшая было болезнь ворохнулась. А затем и вовсе кризис наступил: высокая температура, сильная одышка. Отвезли Шипиловы болезную в город. И последовала изнурительная череда: тубдиспансер, стационар, диспансер... Оберегали ребёнка от чрезмерных проявлений материнской любви. По-родительски голубили его. Когда же их по-стариковски хвори стали донимать, определили Серёжу в школу-интернат. Так и наезжали к ним в Лебедево мать с сыном: то она после диспансера, то он на выходные и каникулы. Так и встречались под родной шипиловской крышей.

Мамку об отце Серёжа старался не спрашивать. Только заикнётся—лицо её с туберкулёзным

румянцем тотчас темнело. Она слабо взмахивала рукой, точно отмахивалась от злого прошлого.

— Характерами не сошлись, — произносила избитую фразу и виновато, болезненно улыбалась.

Шипилиха на расспросы о папаше отводила глаза в сторону и тоже бубнила о несходстве.

И тридцати пяти Катеньке не исполнилось, когда выдохнули её выболевшие лёгкие последнее облачко жизненного воздуха...

В пту Сергей учился. Гоняли пэтэушники в футбол. Увидел, как везли на грузовике коров. Не понял сначала, куда они едут. Потом остолбенел. Показалось, что не коровы стоят в кузове — а люди. Молчаливые, покорные — прощание с жизнью. Смертники. Такие у них были лица. А глаза!.. Очи — прекраснее человеческих. С бездонной смертной тоской. Влажные, слёзные, блестящие... Они знали, что люди везут их убивать. Они плакали... Бурёнка Майка бабушки Шипиловой — кормилица добрая. Сколько лет жизни матушки болезной продлило её целительное, питательное молоко!.. Корова — мать-кормилица. А люди!.. А он, Серёга Зорин, разорил память свою в городской суете. Ни Шипиловых не вспомнил, ни Лебедево — ни матушку.

Спохватился, в спортивной побежке устремился на кладбище. Едва отыскал могилу. Отнял бег, видать, сердечные силы. Не почувствовал печальной сердечности, какая должна быть на могилке родной матери. Такой вот недушевный, чёрствый сынок. Зато памятник поразил. Обычный скошенный клин, кое-где покарябанный ржавчиной. Сведения, какие полагаются на памятнике, стёрты временем. А на их месте выведено: «*Катя*». Словно малолетка. Зато задушевно, со слезой. Буквы большие, как бы лохматые, буранные, будто со снегу. Каютная эмаль сохнет быстро, а эта ещё липкая. Недавно кто-то побывал здесь. Старички Шипиловы вскоре следом за любимой Катюшей упокоились. Хотели дом Серёженьке отписать — не успели. Кисельные сродственники налетели, избу заняли... Кто тогда буквы-то малевал? Может, кто-нибудь из сопалатников больничных?..

Наведывался иногда Сергей на могилу матери. И всякий раз на памятник свежо белело имя: «*КАТЯ*». Всё в нём содержалось: и ФИО, и даты рождения и смерти. И эпитафия: помним, любим, скорбим. Какой ёмкий символ — «*КАТЯ*»! Для кого? Неужели кому-то ближе и роднее она, чем сыну?.. Увидеть бы «художника», застать врасплох за писаниной! А то давненько тянется этот детектив... Одёргнул себя, пристыдил: давно бы пора привести могилку в порядок, новый памятник поставить, а не любоваться чужими каракулями!.. Вот начнёт зарабатывать после «путяги» — обязательно всё сделает!

Окончив пту, устроился в солидном телеателье «Электрон» областного центра. Там жила его первая любовь...

Алку он перелюбил. Давно мечтал о ней. Из футбольёрок она одна не бравировала пацанством. И играла технично, мягко, словно кошечка. Другие колотухи за сезон грубели и отчаянно рвали соперницам волосы. Алка же на поле будто вела балетную партию, за что и получила футбольную кличку Одетта. На Одиллию болельщики поспешили: не очень жаловали они балетчиков с мячом; им больше по душе были боевые, крепкие пацаны и пацанки.

Видики, дискотня, съёмы за неделю перед игрой тренерами запрещались. Тем не менее режимников среди малолеток группы подготовки мастеров не было. Кроме Алки. Потому за глаза её звали цыпой, цацей, недотрогой. А она, белая ворона, гордо держала свою балетно-целомудренную марку, вызывая у Серого тихое восхищение. Зато в снах миловался со своей Алочкой, с которой наяву и заговорить-то робел.

Школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, коснулось веяние времени. На современный лад в ней обозначился спортивный уклон, футбольный. Интернатские-инкубаторские... Тренировки, сборы, выезды, победы, голы, очки, поражения...

Как кислородное — душевное голодание. Нестерпимая тоска по ласке: материнской, отцовской, сестрино-братовой. А затем — и по любви. — Серовастенский, ну как я отыграла?

Свежая, воздушная, будто и не носилась два тайма: у младших юниоров тайм длится тридцать минут.

— Ништяк «баночку» вlepила! В правый нижний — хай-класс! Могёшь, бомбардириша! — панцирёк грубоватости — чтобы очухаться от её голоса, чтобы защититься, если насмешка.

Но насмешки нет. Грусть в серых глазах. Нос мило вздёрнут, соломенная чёлка тоже вздёрнута. А в глазах — грусть непотаённая. Доверенная ему — Серому! «Она — со мной?!..» — он с ужасом гнал мысль об этом. На такой вершине и сердце разорвётся!..

Не стерпел Зор, сам попёр по краю. Его коронный рейд, когда нападение не тянет. Протащился до штрафной. Ломится в центр. Вязко борется с защитой. Снесли! Почти на одиннадцатиметровой отметке. Пенальти!.. Ор фанатов, цвета и голоса глохнут в сновидческом тумане... Записной пенальтист, Зор одиннадцатиметровый пробил прямо в руки вратарю. «Победный» счёт ноль-один!..

«Победный»... Утверждённый не только сном, но и безжалостной медкомиссией. Что ни Манту — то положительная. Волдырёк на предплечье,

папула всего полсантиметра. Но всё же... Отметим материнской болезни. Профнепригодность как футболиста... Зато полная пригодность как телемастера. Спец!

И Алевтина свой последний «победный гол» забила: не женское это занятие—футбол! В школе физру стала преподавать. Вот к ней поближе и перебрался Зорин. Встречаются, милуются. Не торопятся сходиться. А то у многих нынешних торопыг брак—бракованным оказывается.

Аля с мягкой, материнской уже улыбкой обронила, что забеременела. Счастье, которое обошло стороной бедную матушку, да и его сторонилося,—вдруг девятим световым валом обрушилось на него. Взнялось!.. Да, на самой вершине сердца разрывается. Чуть не разорвалось его сердце!..

А потом сон увиделся... Ливень, брызги, пыль дождевая—над надгробной плитой. Гром про-рокотал. И затих. И в тишине слова услышались: «Сынок, сынок...» словно шептали молчные губы матери. Внизу, под ним, в земле. Беззвучно. А он слышал. Живой голос мамы... Столб водяной поплыл туманом. В ожившем облаке взреял призрачный саван. Из-под него бледная худая рука проступила. Лицо строгое, надмирное... родное. Другая рука—благословляющая... Далёкий гром ласково, прощально проворчал—из бесплодной уже тучи.

Сухие, шелестящие старушки шуршали ядовито раскрашенными бумажными цветами. Он отрешённо прошёл сквозь заплот якобы не нищих. Ему предстояло преодолеть центральную узкую аллею, схваченную с обеих сторон попрошайками и корками льда. Первым из нищей братии встретил его козлетоном старикан с дырявым глазом, матрёшно закукленный в полушалок. Он вскинул костлявый кулачишко и ржал его для подаяния. Зорин наменял в городе целую горсть мелочи и теперь раздавал её направо и налево. Старушатник вразной истово кланялся и крестился. Зорин уже рылся в карманах, нашаривая остатки. В конце нищенской аллеи выковырял в кармане куртки заваливающую монету и протянул полоротому дурачку с диковато вывороченными глазами. Тот, единственный из попрошаек, сидел на голом льду. Остальные либо стояли, либо примостились, как торговки возле трамвайного кольца, на ящиках из-под водки. В острожном рванье, вспоясанном бечёвкой, дурачок баюкал облезлую куклу с оторванной пухлой ножкой. В сплюснутой блином военной фуражке перед ним копошилась птичья мелочь, склёвывая печенюшные крошки. Зорин бросил монету в фуражку, вспугнув пернатую мелюзгу. Юродивый вскинул на него мясистое лицо, приладил к кукле упавшую в фуражку целлюлоидную ножку и снова загнусавил колыбельную:

— Аа-а, аа-а...

Убаюкав «дочку», скривился:

— Набедил?

Зорин понуро кивнул.

— За кого молиться?

— За Екатерину.

— Ещё у тебя кто-то есть. Родной. Дай копеечку, за него тоже надо! Во здравие!.. Или пряничек!..

— Не надо! Откуда у меня пряник? Никого нет больше из родных.

— Нельзя без ничего! Не дойдёт молитва. Как звать?

— Кого?

— Мне всё едино.

— Меня зовут Сергей.

— А меня Зина. Будем знакомы!

— Зиновий, что ли?

— Дочка у меня Зина. Я—Зина. Едино мне всё. По знакомству скажу, Сергей: придёт к тебе... придёт...

Похоже, чеканутика стало круто заносить. Пора было с ним закруглять, и Зорин отчеканил:

— Понял, Зина! Привет родителям!

К куче тлелого ледяного лома подкатил самосвал. Бородач с разбойничьими бровями прислонил лопату к могильной оградке и начал споро руками кидать за борт зернистые ломти. Выход с аллеи на дорогу был загорожен. Зорин принялся помогать бородачу и после загрузки выпросил у него лопату.

Он не был здесь три года. Поселение усопших неузнаваемо разрослось. Уже больше часа кружил по кладбищу. За ним увязалась какая-то тётка. Такая же беспамятная. Ей, видно, втемяшилось: отыщет свою могилку этот мужик—найдёт и она. А он уже проклял себя и стал виниться перед матерью: «Прости, мама, непутёвого меня!..» Человеку свойственно оправдываться, и он начал ссылаться на половодную поруху. Утешал себя и мать: важна память сердца, а не наглядные атрибуты. И вместе с тем на задворках совести копошилось подленькое чувство облегчения: не придётся больше мотаться сюда, красить памятник...

Эту липучую «паутину» сжёг высверк ажурной «ели» высоковольтного столба. Там! Недалеко от дороги!.. Не ожидал от себя такой прыти. Не совсем ещё конченный... Тётка, загадавшая на него, приотстала. Надо подождать. Авось тоже найдёт своих.

Из тёмной аллеи с тяжёлым запахом сырых могильных деревьев вышел с лопатой на дорогу. По мёртвому городу галопчиком носились беспамятные, потерявшие родные могилы. Вздвогнул от скорбного возгласа:

— Бедуют родненькие!

Сбитая из гравия насыпь-дорога возвышалась над полкой водой, повалившей в низине оградки и памятники. Старушка-чернавка, возгласившая

скорбно, в блескучих, новеньких резиновых сапогах, подняв узелок, сунулась в водомоину. Зачерпнула полные сапоги, увязла:

— Ой, утопну!

— Куда ж ты, бабка?! — Зорин протянул бестолковой старушке руку и вытащил её из хляби.

Она сокрушённо взмахнула узелком в сторону похилившегося деревянного крестика:

— Рукой подать, а не добраться! Тятя ешо держится, а мама под воду ушла. Утопленников-то скоко! Ладом в земле не упокоенные, всплывут тожно... Светопреставление!..

Чёрный ворох ворон, чёрные охапки хвороста в сплетении ветвей высоковольтных «елей». Глухая, замкнутая вода могильных вымоин — точно кровь мёртвая, ржавая из растёкшихся гробов. Будто напитанное этой водой — коричневое торфяное болотце с сахарно-зернистым припаем. Талый ветерок с болотца потянул в глубь затопшего мёртвого города. Сквозанул по дороге, донёс дымный доскуток загухающего кострища.

Вздригнуло сердце: а если могильщики порушили заброшенную материну могилу, сдёрнули с неё памятник?.. Размичканная глинистая дорога немного поднялась из низины, затвердела. По левую руку от неё в могильном затоплении уже виднелись подсохшие сугревки. Здесь природной порухи было меньше. Зато человечье зверство распидало, повалило стоячие плиты-памятники из мраморной крошки. Наверняка упражнялись мафиозные мастера восточных боевых искусств. Помпезные мавзолеи убитых «крёстных отцов» — из красного гранита с малахитовыми вазонами в виде бажовских каменных цветков — составляли мемориальный комплекс кладбища. Знаменательный туристический объект. Но он располагался наособичу, на следующей автобусной остановке. Чем не угодили мафиозной стае старички Прасоловы? Одна плита на двоих — повержена. Запотевший «иллюминатор» фотки в резиновом ободке. Прасоловы... Где-то рядом мать. Протёр рукавом треснувшее стёклышко. Слепились плечиками улыбочивые, молоденькие ещё, как голубки. Посилился приподнять плиту — и двоим не под силу. Ребристый след от кроссовка — потёкший, раздвоенный. Копыто. Сатанва!..

Вытащил из-под плиты сосновую ветку — ободранный хлыстик остался. Встрепенулась освобождённая сосенка, закачалась, едва успокоилась. Однобокая, кривенькая после каменного плена — но признал её. Она-то и была главной приметой. За ней — мать.

Будто десна от вырванного зуба. Вывороченная земля ещё сыра. Видать, уже готовили место для нового постояльца. За могилой — мусорная яма, дремуче заросшая дурниной в ошметьях паводка. С ямой возни много. Катю же посчитали непризорной. Да и впрямь мать — брошенка.

Воткнул лопату в материнскую могилу — не бесхозная она, объявился приглядчик. Пошёл к кострищу: может, сохранился памятник, хотя он уже и не пригодится... Мёртвые хватают живых! У самой дороги зацепился за что-то, упал на четвереньки. Короткие, в глине, «лапки», приваренные к клину. При волоке насобирали будыля, грязные ленты от венков, консервные банки. Хворостиной сбил хлам с клина. Блеснули жирные кривые буквы: «КАТЯ». С налипшей травой. Недавно писаны. Дал понять неизвестный доброт могильщикам, что не бесхозная Катя, что под призором. Не помогло. Место хорошее, сухое. На очереди новый постоялец.

Загремел памятником, пересекая дорогу. Бросил у кострища. Седым пухом взметнулся пепел...

Небо, точно кукушечье крыло, в пестринах. Бросил мать сын лебеды. Бросил — она беспризорной лебедой и проросла.

Посёк толстые стволы пустырной травы; перекопал корневые «авоськи» с земляными комьями, чтобы вновь не за жирела разбойница, не навалилась на обновлённую могилу Екатерины Александровны. Под высоковольтными «мачтами» нарезал бруски сыроватого, с живой пресниной, дёрна. В форме гробовой крышки выложил под могильную плиту основание.

И тётка не зря загадывала на него. Принялась со рвением ломать будыля на найденной могиле.

В кладбищенской конторке устало развалился на впадлом засаленном диванчике цыганистый бабай, который дал Зорину лопату. Вычёсывая пятернёй мусор из окладистой бороды, он терпеливо выслушал попреки насчёт кладбищенской порухи. — Женчыну вчера убили... Серьги из ушей вывали, палец с кольцом вырвали...

Тягостное наступило молчание. Не полая вещь вода — болотная кислота человекоподобной нечисти травила и мёртвых, и живых. Окаменел Зорин — ощутил и свою вину за этот апокалипсис. Так окаменел, хоть самого клади вместо плиты на могилу матери.

Среди завалов нарезанного мрамора бородач подыскал Зорину по сходной цене бросовую плиту с отколовшимся углом. Всё скупили «мемориал» — цены на могильный камень взлетели баснословно. Голь на выдумку хитра — приспособились декорировать под мрамор жёст. Дёшево и сердито. Мёрли люди. Очередь на этот мрамор бедных росла. Но хлопот с ним не оберёшься: ржавые потёки, лупится краска — раз в год обязательно надо подкрашивать. Так что Зорину повезло.

Резчики усердствовали над изготовлением мавзолейных букв клички очередного убитого мафиози. Шаблоны из картона выкладывали неподалёку от зоринской плиты: «Люцифер». Копытный. Не

тот ли, что сбил надгробие старичков Прасоловых? Мастер с эскизом люциферовской эпитафии: «Погребён, но не умер!» — велел Зорину валить отсюда подальше. Вновь вырубил бородач: помог на тачке свезти плиту на место. Резчика найти не удалось. Пришлось Зорину самому слесарным керном выдалбливать буквы и цифры на материнской надгробной плите. Кропотная работа! Все пальцы сбил. Ходил на кладбище как на службу. Шныряло, приглядывалось, принюхивалось к нему шакальё. В глине, в мраморной крошке — кому он нужен, дятел? Да лопата и молоток с ним — холодное оружие.

Каждодневная долбёжка изнуряла и вместе с тем отдавала мазохистской сладостью: избывала вина перед матерью.

Подсыхали могильные водомоины. Бородач с бригадой приводил порушенное в порядок.

Птахи угомонились по гнёздам. Тишина и оседлость. Все заняты делом — ни одной праздной травинки. Всякий подгон, сброд лиственный на цыпочки привстаёт, тянется. Голый осинник подёрнулся ситцевой зеленцой, запах горько и молод. Под тёмными елями тяжело умирал последний снег. Заканчивались для усопших чёрствые сны.

Талый вешний ветерок ласкал душу. Никогда ещё Зорину не было так покойно. В будничной суете разве ощутишь вместе с зазябшим вербником утренний приятный озноб? Углядишь ли, как ершится хвойная ребятень?

Майский поскрипывает скворец, синица порскнула в робком тальничке... Кроткая трава-мурава на дорогой могиле. На дорогой... Горько и сладко думается среди погостивших у жизни... О маме, о дорогих сердцу Шипиловых, о старичках Прасоловых, о соседе матери — Геринге. В запуци могилка Рудольфа Францевича. Обычно у немцев могилы ухоженные. Что-то случилось... Повыбил ржавь конского щавеля у Геринга. Натерпелся, поди, при жизни мужик из-за своей фамилии. И теперь непорядок. Подсыпал землицы Рудольфу Францевичу, подправил холмик у облупившегося клина.

Под датами рождения и смерти Зориной Екатерины Александровны выбил листочек, схожий с сиреневым. Лист жизни. Чтобы жила о матери вечная память. Со счастливой слезой увиделась любимая Алка — скоро и она станет мамой.

Родительский день. Толповище на автобусной остановке. Точно весь город собрался на кладбище. Пошествовал в разношёрстной толпе — в основном из старушек с поминальными узелками, цветочками, с детскими грабельками и лопатками. Не выдержал тихого хода, обошёл растянувшееся на километр шествие. Пока поминальщики не заполнили кладбище, побыть бы с мамой наедине.

Взглянул на небо. Прежде летающая тарелка на башку бы села — не заметил бы в суетном гоне. Теперь же часто, подолгу и глубоко всматривался в

небо. Словно вешние распары кольхались, струились. В благостном тепле легчало сердце. От небесного созерцания, от очищения души влажнели глаза.

Майская, с зеленцой у земли, лазурь. Если долго смотреть в неё, она становится темнее, глубже, бездоннее — чёрной: вот-вот высыплют звёзды. Это не свет из колодца. Это — надмирно...

Лазурь-бирюза... И откуда ни возьмишься — обыкновенная, слабокрылая сорока. За ней другая боком пилит. Целая эскадрилья белобок...

После смерти в снах матушка ни в чём не упрекнула. Всё по-доброму, без обиды. А в эту последнюю перед отлёгом ночь взяла за руку и потянула к себе, словно удерживала... Землю, постель её ворошил — побеспокоил. Что не так?... Не взгрустнул сердечно?... Уафганцев, погребённых неподалёку, слеза накатила. За что погибли ребята?... Политика настолько неприятна, насколько навязчива. Скорбь мировая да надмирная — пожалуйста. А обыкновенная, сыновняя... Мать за неделю и не помянул как следует. Заработался. Даже поддельный слезный ком в горле не покатал. И про цветы забыл...

На соседних могилах пока никого. Все плетутся через ворота, а он дунул мимо торфяника. Скоро начнётся галдэж. Э-эх, уже начался!

— Вран их побери! Доштуломился с имя. Работу ворочал: ежели бревно где — сразу, как дурак, под комель лез...

Через три могилы у добротного клина из нержавеющей стали, блистающей кругами шлифовки, бубнил постный, скучающий старикан. Зорин скорбно склонил голову над надгробной материнской плитой, согретой его руками, дыханием.

— Я и бутылёк первача припас. Появятся ли? У их всё на дармовщинку. А по мне, не дорого пито — дорого быто.

Зорин платком принялся тщательно протирать мрамор.

— А ая, паря, прошёл Крым, рым и медные трубы! Сопляком здесь, на этом самом месте, телят пас. Теперь вот Марию свою поминаю.

Зорин в наклонке оглянулся: ударило в глаза чёрное хромовое солнце на голенищах сапог. Бравый ещё. Густо затабачил самосадам, прокуренно закашлялся:

— Ши... шибко!.. Кхе-кхе!.. Дух спёрся. Крепок, подлюшный!.. Вот ведь, весь помёт такой: старшой аж запраждает весь, как про машину услышит. Машину ему — ходить ребром, бабий шаркун! Оба вкусно жить хочут. Младшой уж котору шлюшонку поменял. Нонешняя — во-от та-акенная фэмына! Привёл на знакомство, а дух от её — как от парикмахерской...

Нос шиловидный, как у дятла. Долбит и долбит одно и то же: про сына — бабьего шаркуна, про машину...

— Отец, помолчи, а!

— Осторожней на поворотах! Ты-то теперь до турецкой Пасхи сюда не заглянешь...

Тонкий, злой потянул ветерок. Рать светлопелельных туч надвинулась из-за ельника, точно давешние сороки-наводчицы привели их. Выждала, сгустилась грозовая рать и понеслась. Притемнилось утро. Небо прорвалось. Водяной шквал. Вздувшийся разом мир.

Зорин накинул на голову капюшон ветровки; на мягкий, мокрый уже дёрн опустился на колени. Слова?.. Приземлённые, неуместные среди возвышенных скорбных дум о жизни и смерти. Для чего?..

Белёсая стена ливня. Брызги, пыль дождевая над плитой. В ливневой мгле прокатился гром. Столб водяной поплыл туманом. Словно призрачный саван взреал в ожившем облаке...

Протяжённый гром ласково, прощально проворчал из бесплодной уже тучи. Лужи осветились небом. Всё мокро заблестало. Поток взбурлил в канаве, кроша прошлогоднюю ржавь конского щавеля и прочего придорожного сброда.

Глянул на часы: времени в обрез—через три часа самолёт.

— До свиданья, мать! Ты—дома, а я—в гостях. Могилку твою привёл в порядок. Теперь не затеяется. И на душе спокойнее. Не обессуди, коли что не так. Будем навещаться с Алей, с внуком или внучкой. Ну, пока!..

Сыпкую птичью трель взорвала медь оркестра. На сугревке у могильной оградки, обсаженной сиренью, копошился старый знакомец:

— Бегите, бегите, проворные ножки!

Зина пытался поставить «дочку», чтобы она побежала. Оглаживал куклу, одёргивал задрвшее засаленное платье и наконец посадил её в фуражку на кучку мелочи. Зорин протянул ему пятирублёвик:

— За Екатерину помолись!

Тот истово шепотью вразброс перекрестился: — Звать-то как, забыл.

Конопатая рука Зины в помидорных «икринках», его забывчивость и неряшливость вызвали у Зорина досаду. Ему казалось, что Зина—не просто нищий, а юродивый, блаженный, богоугодный. Он верил в его святость, верил, что молитва его дойдёт до матери. А он—Зина и обыкновенный побирушка. Иначе бы не забыл. Ничего не ответил ему Зорин и стал проталкиваться среди толпы к выходу.

— Вспомнил! Вспомнил!—услышал за спиной радостный голос Зины.—Жди!

Наконец-то дома! Бросил у порога спортивную сумку. Разминаясь, поиграл плечами и хотел было попрыгать—уж слишком занемело скукоженное в переполненном такси тело. И замер внезапно. В сумке—облюстанная ливнем одежда, в земле

с могилы матери. С её атомами—с ней самой. Дух мамы... Соскребёт землицу в коробочку и будет хранить. Святая память...

Ласково проворотал ключ в замочной скважине.

Сердце сорвалось:

— Алка!

Бросился к ней, осыпал жаркими поцелуями. Встал перед ней, перед мадонной своей, на колени, распахнул плащ. Припал слухом к округлившемуся животу, слыша, ощущая слабые толчки.

— Это он пяточкой до тебя достучался, Серёженька, дождался папку,—ручьисто журчал голос Алевтины, его любимой Алки.

— О-он!..—возликовал Зорин.

— Да, он—наш Серёженька!

— Алка, ты уже назвала?

— Да, теперь два Серёженьки у меня—любименьких!

Он обнимал её ноги, слушая и слушая своего сынульку. Она гладила, ласкала его волнистые волосы, роняя на них блестящие слёзы.

Никакой Рафаэль не смог бы живописать невыразимо прекрасный лик его Алки. Вроде ничего особенного—а не наглядись! Тайна любви. Тайна красоты любви...

— Алка, моя Алка!..—как бы не веря ещё в своё счастье, прошептал Зорин.

Так и не решился дотронуться до любимой ямочки на зоревой щеке, чтобы не вспугнуть летучий, улыбочивый сон... Тихо собрался на работу. Уже опаздывал. Что такое?.. Дверь открыл, а она не подаётся. Снаружи кто-то под ней улётся. Мягкий—пёс-бичара, наверно. Наддал плечом, высунил голову в щель. Не пёс—старик на вате дверь сторожил. От толчка заворочался и вскинул на Зорина козье личико, зазябшее, заросшее щетиной-сорняком. Сведённый рот его с побирушными заедами выдавил:

— Сыно-ок!..

Зорин ещё наддал на дверь и, перешагнув через бомжа, захлопнул её. Богодул вцепился в его ногу и прижался к ней щекой:

— Сынок! Серёженька!..

Зорин с трудом выдернул ногу из объятий старика. Бездомная головушка шарлатанит. Вызнал имя и давит на жалость. А может, папаня?.. Не он ли малевал буквы на памятнике? Да этот сморчок и окурок не поднимет, не то что кисть с краской. Вцепился, однако... Другой город, не ближний свет. Да им, бродяжкам, расстояния нипочём. И Зина что-то каркал. Каркуша...

Блистательным кейсом Зорин с силой отпихнул нищесброда, цепляющегося за полы белоснежного плаща. Сбежал по лестнице и крылато, в распахнутом плаще, вылетел из подъезда. Перехватил частника, и тот, красуясь в своей «Короне», будто распластал её в «сверхзвуке».

Однако на проспекте скорость упала до шажков клячи—пиковая пробка! Мало-помалу дорожная «гусеница» расшевелилась, и машина покатила мимо ж/д вокзала. Рукой подать до «Электрона». И тут Зорин застыл от изумления: по вокзальной лестнице в торопливой толпе сгорбленно поднимался—давешний уксус, стороживший его дверь. Скорый малый! «Сверхзвуковой» лимузин обогнал. Удалец! Даже не верится. Но это был, несомненно, он! Выгоревший, в прожжённой фуфайке, в подсученных штанах, в сбитых,

стоптанных башмаках. И всё—в белых крапинах. В краске?!.. Это Зорин в полумраке лестничной площадки не заметил. «Маляр» обернулся, будто почувствовал изумлённый взгляд. Глянул боком, точно гусь; загладил жидкие волосы на затылке и потащился к вокзальной двери.

Сунув водителю «чирик», Зорин выскочил из машины. Лавируя среди чадного разномастного автостада, ринулся к вокзалу.

Успел заскочить в поезд, который тотчас тронулся. Запалённый, пошёл по вагонам...